

Париж.

Среда, 10 апреля 1850.

Здравствуйте, Сударыня.

Ну как же вы были добры, говоря такие ласковые слова в вашем письме — поистине — это может утешить в разлуке. Если б только разлука не была бы такой гадостью. Ах! вы очень нежно любимы и заставляете так сожалеть о себе! Известие о смерти бедного брата Гуно¹, должно быть, вас очень огорчило; я все время только об этом и думаю; в данный момент вы ему, вероятно, пишете. Я вижу с ним каждый день. Он поживает довольно хорошо. Только я вот что предвижу: то, что он захочет связать себя, поселившись бок о бок со своей матерью, и мне нечего говорить вам, как это будет для него неудобно. Словом, посмотрим. В вашем письме вы говорили ему о бедной г-же Беер, которая, в свою очередь, тоже потеряла сына: вы можете себе представить, как все, о чем вы ей сказали, должно было ее взволновать и в то же время ее поразить. По не менее странному совпадению, в прошлую пятницу — в самый канун дня смерти его брата — мы имели с ним длинный разговор о бессмертии души... На следующий день, ни о чем не догадываясь, я иду к нему: незнакомая женщина с перепуганным лицом открывает мне дверь. У меня сейчас же появилось дурное предчувствие; она вводит меня в маленькую комнату. Входит Гуно и говорит: Ах! мой друг — моего брата нет больше в живых!.. Мы очень долго оставались вдвоем: время от времени он поднимался для того, чтоб навестить свою мать. Пришел старый священник с благообразным лицом; он попытался его утешить, говоря о блаженстве, к которому, по всей вероятности, призван покойный. Так как за несколько дней до того он причащался. Так вот! уверяю вас, что, несмотря на отличные намерения доброго старика, это звучало фальшиво и ничуть не уменьшило скорби...

Я, насколько могу, стараюсь быть ему полезным; здесь я проведу еще 4 или 5 дней; уеду только тогда, когда снова увижу его на хорошем пути. Что касается до меня, то я совершенно оправился от моей ангины... и моя законная² тоже, как кажется, хочет стать менее суровой. До завтра. Бог да благословит вас тысячу раз! Будьте здоровы.

Четверг.

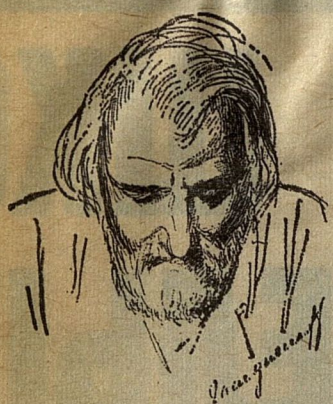
Гуно чувствует себя хорошо. Теперь ему приходится заниматься множеством формальностей; смерть близкого человека всегда оставляет в жизни ужасную пустоту, и эта дыра хочет быть заткнутой, как можно скорей... Вы понимаете, что я не говорю здесь о пустоте, оставшейся в привязанностях. Тем не менее, я думаю, что, как только Гуно сможет немного перевести дух, он опять примется за работу.

Вчера я впервые видел Рашель в «Андромахе». Эта роль, исполненная ненависти и ревности, подходит к ней, словно для нее вылитая. Ее голосу, содрогавшемуся от бешенства и презрения, позавидовала бы и гиена. Жест, с которым она швыряет Оресту свое последнее проклятие, великолепен... И все же ее таланту не хватает многого: или, вернее, ей не хватает одного: сердца — и того подлинного благородства, которое исходит только из него. Ей свойственно лишь благородство тела, линий; вместо сердца у нее — старая монета в одно су, позолоченная; а la Руольц: ни один взволнованный или исполненный великодушия звук не вылетел из этого, сведенного конвульсией и продажного рта. Это натура отвлеченно разумная: неудивительно, что она хорошо себя чувствует только в старинных французских трагедиях, которые, сколь они ни прекрасны (знаете мое восхищение Расином и Корнелем), все-таки отвлеченны. Гермiona — Ревность, Андромаха — Супружеская верность, и т. д. и т. д. Но раз и навсегда это установив — какая тонкость, какая правдивая наблюдательность, какая кружевная работа над психологией, какое знание малейших колебаний страсти и какая удачная, какая точная выразительность! Эти мимолетные колебания Расин умеет запечатлеть в стихах так, как булавкой прикалывают крылья засушенных бабочек. В наше время так не пишет никто, даже г-н Понсар. По поводу Понсара, сегодня я сделал большую прогулку по Елисейским полям в карете, вместе с этим добряком Рэно, который затопил меня александрийскими стихами своего сочинения. В лицо я его подло расхвалил, но вам-то я могу сказать, что это нечто весьма малое... настолько малое, что оно есть испорченное ничто.

Добрый вечер, будьте здоровы... Я не могу еще назначить дня моего отъезда, но когда думаю о том, что покину Фран-

¹ Урбэна Гуно, брата Шарля Гуно, композитора.

² По всей вероятности, речь идет о подагре.



И. С. Тургенев— Полине Виардо



В настоящее время Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР приступил к подготовке нового полного собрания сочинений И. С. Тургенева, куда войдут и неизданные, не публиковавшиеся у нас до сих пор или публиковавшиеся частично письма писателя, в том числе к семье Виардо-Гарсиа. Взаимоотношения И. С. Тургенева с семейством Виардо — самой певицей, ее мужем Луи Виардо — искусствоведом, переводчиком и журналистом, их дочерьми Клоди и Марианной — любимицами Тургенева, сыном Полем Виардо, известным скрипачом и дирижером Парижской Большой оперы, — составляют чрезвычайно важную страницу в биографии писателя. Взгляды Полины и Луи Виардо были известны демократизмом, что вынудило семейство Виардо на много лет покинуть Францию. Полина Виардо в течение нескольких сезонов гастролировала в России, где пользовалась огромным успехом. В свою

очередь и Полина Виардо любила Россию, называла ее «своим вторым отечеством», указывая, что нигде больше не получила такого полного, единодушного и горячего выражения «приверженности и уважения», «возбуждавших» в ней «вечную признательность». Луи Виардо своими переводами сочинений Тургенева (как и переводами произведений других русских писателей, в частности Н. В. Гоголя) способствовал ознакомлению французского читателя с русской литературой. Публикация писем Тургенева во многом дополняет его уже известное эпистолярное наследие, полнее объясняет отдельные жизненные факты. Это относится, например, к весне и лету 1850 года. Чрезвычайно интересно письмо от 21 февраля (4 марта по новому стилю) 1852 г., касающееся смерти Н. В. Гоголя (это письмо публиковалось ранее с сокращениями).

Перевод А. Розанова. Публикация А. Розанова и С. Краюхина.

цию, может быть, надолго, то мое сердце становится совсем маленьким... Терпение.

До завтра.

Пятница вечером.

Сейчас вы дежурите в Берлине в «Гугенотах». Все мои добрые помыслы для вас и с вами. (Их здесь давали; г-жа Лаборд имела, как говорят, большой успех. Кстати, г-жа Угальд окончательно потеряла голос и едет на Юг. Ее роль в новой опере Тома отдала м-ль Лефэвр).

Гуно я не застал сегодня дома. Я оставил ему записку, назначив свидание с ним на завтра, на улице Дюз. Думаю, что уеду в воскресенье, в восемь часов вечера. Мой паспорт в порядке, чемоданы почти уложены. И все-таки, я не знаю... мне жаль покидать Париж. В особенности удерживает меня Гуно. Тем более, что и моя законная не слишком ворчит. Я очень печален... я хотел бы... не знаю чего. Не хочется продолжать письма в таком расположении духа. Желаю вам всего наилучшего на свете... До завтра.

Суббота вечером.

Сегодня я получил ваше письмо, добрая и дорогая госпожа Виардо. Вот — в двух словах — результаты. Я виделся с Гуно сегодня, на улице Дюз (он сказал мне, что написал вам). Его мать принимает ваше предложение отправиться в Куртавель, как только установится хорошая погода; и я от этого в восторге за нее и за Гуно; другое же предложение (я говорю о переезде места жительства) оказалось неприемлемым по многим причинам; Гуно должен был сам вам их изложить. Особенно оно становится им тогда, когда принято первое предложение, в сущности говоря, единственно важное. Что касается до предложения, сделанного в письме Виардо, то я кончил тем, что показал письмо Гуно; он был им живо тронут и просил меня разрешить ему оставить его у себя, чтобы показать своей матери... Не думаю, чтобы сейчас они крайне нуждались в деньгах. Однако это предложение сделано с такой деликатностью, что я уверен в том, что ничто не помешает им его принять, если они сочтут это необходимым. В то же время я решил остаться в Париже еще на неделю; Г (уно) я смогу видеть чаще, чем до сих пор, а его обещание показать мне то, что он уже сочинил, может быть, приведет его в рабочее состояние. Он прочел нам письмо, которое вы ему написали: вы добры, как ангел. Вам нечего просить меня быть к нему добрым; я чувствую к нему настоящую дружбу. Итак, вы можете писать мне еще сюда. Я доволен, что уеду из Парижа только через неделю. Прощайте, вы очень добры и очень любимы. Тысяча добрых пожеланий Виардо.

Куртавель
Четверг, 16 мая 1850.

Доброе утро, дорогая и добрая госпожа Виардо. Guten Morgen, theuerste Frau! Вот я и возвратился в этот дорогой Куртавель. Он начинает делаться чистеньким и кокетливым. Я возьмусь ухаживать за ним как следует. Всех я нашел в добром здравии и должен сказать, что мой приезд был, как кажется, приятен. Я всех с радостью перецеловал. Добрый Гуно приехал в тильбюри встретить меня в Роэз. В моей новой комнате (ближайшей к

кузну Теодору) я превосходно переночевал.

Суббота.

Почтальон прервал мое письмо; я написал вам два слова в письме Гуно, который прочел нам несколько мест из вашего. Вы говорите о письме, написанном мне вами и Виардо; в Париже я его не получил; может быть, вы послали его в Брюссель, сообщите мне об этом, чтобы я смог его вернуть. Надеюсь, что вы не сердитесь на меня за то, что я не приехал в Берлин — раз уж я нахожусь в Куртавеле. Признаюсь, что я рад этому, как ребенок; я поздравился со всеми местами, с которыми, уезжая, уже попрощался...

В данный момент я нахожусь в Бри и на это не жалею. Два человека непрерывно работают в парке, который малопомалу очищается от грязи. Теперь он меньше похож на очень плохо выбитое лицо: к вашему возвращению он будет прелестным! Старушки подберут хворост, которым он завален. Расставят скамейки, менее опасные для тех, кто на них усядется. Устроят качели, и т. д. и т. д.

Сегодня очень хорошая погода. Гуно весь день прогуливался в лесу Бландоро в поисках музыкальной мысли; но вдохновение, капризное, как женщина, не пришло и он ничего не обрел. Во всяком случае, он сам мне так сказал. Сейчас он в родах возлежит на медвежьей шкуре, в своей работе он обладает упрямством и цепкостью, которые меня восхищают. Из-за бесплодности сегодняшнего дня он очень несчастен; испускает вздохи длинной с руку и неспособен отвлекаться от того, что его забит. Отчаиваясь, он придирается к тексту; я постарался его подправить и мне кажется, это удалось. Очень опасно идти по такому наклонному пути: кончают тем, что скрещивают пальцы на животе и говорят себе: «Но все это отвратительно!» Его стенания я принял посмеиваясь, потому что знаю, как все эти облачка исчезнут при первом дуновении, и очень печален тем, что стал его поверенным в маленьких его творческих мучениях.

В Париже я подхватил довольно сильную простуду, которая теперь проходит. Кстати, вы уже знаете о том, что маленькая Луиза очень удачно перенесла неизбежное посещение кори. С этой гадостью она уже навсегда рассталась. До завтра. Да хранит вас бог. Мы очень радуемся вашим успехам. Это чудовище Гуно получает письма в 8 страниц! Ну что же! Я не хочу завидовать его счастью. До завтра.

Воскресенье.

Итак! Я был прав, говоря, что он возьмет реванш: он нашел очень красивую вещь для вас. До сих пор он все еще не брался за вашу роль. Это преисполнено увлечения, это великодушно и патетично — той, свойственной ему мягкой и проникновенной патетичностью. Чего немного нехватает Гуно, так это блеска, доступности; его музыка как храм: она не отверзта для всех и вся. Поэтому, я предполагаю, что с первого его появления у него будут восторженные почитатели и большой музыкальный успех у публики; но это популярности ветряная, скачущая и подвижная, как вакханка, не повиснет

Либретто оперы «Сафо» написал Э. Ожье. «Поправки» Тургенева вошли в его окончательный текст.

потом на его шее; думаю даже, что он всегда будет ею пренебрегать. Его меланхоличность, такая оригинальная в своей простоте, и которую кончаешь тем, что начинаешь так нежно любить, не столь рельефна, чтоб быть сразу доступной для уха; он не покалывает, не веселит слушателя — он его не щекочет; в своей гамме он владеет множеством оттенков — но все, что он делает, — включая вакхическую песню, вроде «Выпьем», — несет на себе отпечаток возвышенного; все, к чему он прикасается, он идеализирует — однако, возвышался, отходя от большинства. Впрочем, среди этого множества пошловато одухотворенных талантов, понятных не своей ясностью, а тривиальностью, — появление такой музыкальной натуры, как Гуно, есть нечто столь редкое, что для нее нет действительно достойных ее приветствий. Мы много говорили обо всем этом сегодня утром. Он знает себя настолько хорошо, насколько человек может познать самого себя. Я советую ему особенно тщательно работать над Глицерой: о Сафо я и так знаю, что из его рук она выйдет прекрасной и великой. Не думаю также, чтобы он обладал комической жилкой man ist am Ende... was man ist! — говорит Гёте. Но вы можете себе представить, с каким нетерпением он вас ждет — мы вас ждем (говорю только в отношении музыкальном) — я могу сказать: мы вас ждем, так как присутствовал и все еще присутствую при рождении «Сафо», я принимаю в ней совершенно особенное, смею сказать, почти отеческое участие. Чувствую, что мы с ним связались дружбой, дружбой истинной; думаю, что он доволен тем, что я нахожусь возле него. Но, приезжайте, приезжайте и вы увидите. То, что он сочинил сегодня, действительно прекрасно, и мне кажется, что в вашем исполнении, оно заставит забиться все сердца. Только приезжайте и вы увидите.

Сегодня роскошная погода; у нас это первый теплый и ясный летний день. Деревья, трава, все счастливо, свежо, покойно, молодо... Зато у нас множество майских жуков. Правда, что собаки их поедают... но что значат две собаки против сотен миллионов, миллиардов майских жуков? Диана совсем поправилась, Султан делается пузатым. Вот его портрет. Вероника полагает, что когда эту собаку удастся заставить отказаться от еды... и она не кончат фразы. И тем не менее, я делаю все на свете, чтоб помешать ему жиреть: заставляю его есть в вертикальном положении, держа его за задние лапы — ничто не помогает. Только что пришел почтальон. У меня есть время только очень крепко пожать вам руки и всех вас благословить.

Ваш И. ТУРГЕНЕВ.

Ст. Петербург.
21 февраля (4 марта) 1852. Четверг.

Я только что получил ваше последнее письмо из Дэнз-Касла, дорогая и добрая госпожа В (иардо), в котором вы просите меня писать вам отныне на Париж. Еще нет и трех дней, как я послал вам письмо на Дэнз-Касл, но мне хочется еще раз написать вам и сегодня, не зная как следует, насколько можно положиться на аккуратность почты. Одновременно я хочу возместить и мое долгое молчание.

Не могу скрыть от вас, что меня

очень беспокоит ваш кашель. Я убежден, что в семействе Хэй вам во всех отношениях было хорошо, но уверен также и в том, что вам скорее подошел бы климат, более умеренный, чем в Шотландии. Ну, теперь дело сделано — надо надеяться, что на помощь вам придет весна. Повторяю, ваш кашель тревожит меня гораздо больше, чем то, что ожидает вас в мае месяце — не сомневаюсь, что с этим вы справитесь отлично.

От Ваших концертов в Дэнз-Касле у меня потекли слюнки. С каким бы удовольствием я отдал бы за один из них все эти приевшиеся и избитые верзилы-оперы, со всеми этими заслуженными певцами и певицами...

Среда, 27 февраля.

Я не в состоянии продолжить это письмо так, как его начал. Нас поразило великое несчастье. В Москве умер Гоголь, умер, после того, как сжег все, 2-й том «Мертвых душ», уйму уже оконченных и начатых вещей, словом, все! Вам трудно было бы оценить всю величину такой жестокой, такой полной потери. Нет русского, чье сердце сейчас бы не кровоточило. Для нас он был больше, чем просто писатель — он открыл нам самих себя, — во многих отношениях он был для нас продолжателем Петра Великого. Эти, продиктованные скорбью слова, могут показаться вам преувеличенными, но вы ведь его не знаете, вам известны лишь его малозначительные сочинения, и даже, если б вы знали их все, вам трудно было бы понять, что такое они для нас, надо быть русским, чтобы это почувствовать. За границей самые проницательные умы, например, Мериме видели в Гоголе только юмориста в английском характере — от них полностью ускользнуло его историческое значение — повторю, надо быть русским, чтобы постичь все то, что мы потеряли!

Вторник, 4/16 марта.

За последние дни все известия из Москвы только подтверждали первоначальные тревожные слухи. Ничто не уцелело. За 10 дней до смерти он все сжег, а совершив это нравственное самоубийство, слег, чтобы больше не встать. Невозможно даже назвать вам причину этого ужасного решения; вам достаточно знать, что его трагическая, почти добровольная, смерть была результатом давно уже терзавшей его долгой и мучительной борьбы. Но по какому праву он унес с собой все эти сокровища? Разве они уже не стали нашим общим достоянием? Заметьте, что Гоголь занимался подготовкой к изданию нового и полного собрания своих сочинений.

Его похороны были поистине общественным трауром. Гроб не дали поставить на катафалк. Толпа несла его на плечах до кладбища, находящегося в 6 верстах от церкви.

Представьте себе, что здешняя цензура запрещает уже упоминать его имя!!!

Простите, дорогая госпожа Виардо, но сейчас я не могу говорить ни о чем ином, и, однако, чувствую, что мое письмо должно вас утомить. До другого раза. Прощайте, и тысяча дружеских приветствий.

И. ТУРГЕНЕВ.

Рисунок Полины Виардо.

Полина Виардо.

Портрет П. Соколова (середина 1840-х годов).

Добрый день, дражайшая из женщин.

...в конце мы есть... то, что мы есть.